

Переход от первой пятилетки ко второй, завершение культурной революции, влекли за собой общую переоценку культурных ценностей. Свойственная первой пятилетке «уравниловка» и сопутствующий ей культ «маленького человека» уступили место героическому, ставшему отличительным признаком соцреализма²⁹. Идеология равенства сменилась идеалом твердого организационного начала и тотальной иерархизации. «“Равенство” объявляется мелкобуржуазным понятием, само слово приобретает пренебрежительно-презительную форму: “уравниловка”. Неравенство становится официально-социалистической добродетелью»³⁰. Решающую роль в формировании культурных ценностей эпохи начинает играть Горький, пользовавшийся огромным авторитетом как в широких массах, так и в культурных элитах. Горький, который всегда был сторонником «революционного романтизма», неуклонно выступал за монументальность, оптимизм и героизм в литературе и упорно отстаивал «революционный романтизм» в соцреализме. Наконец, героическое в литературе было связано с разрастающимся культом личности Сталина. Появление богатырей в разных областях советской жизни, в том числе и в литературе, не только не подрывало авторитет вождя, но наоборот, увеличивало его: каждый советский герой представлял собой феноменальное проявление ноуменального героизма самого Сталина.

В этих условиях понятие классического писателя неизбежно сдвигалось от нео-классического полюса к романтическому. В эпоху «высокого сталинизма» классик не теряет должности специалиста по технологии литературного мастерства, но гораздо чаще выступает в роли культурного героя, воплощающего дух народа. Он остается ценнейшей формой культурного капитала, но, вследствие смыслового сдвига от формы к духу, идеологическая роль его сильно расширяется. По отношению не только к литературе, но к любой сфере общественной жизни, классик начинает играть культовую роль. Более того, тем самым абстрагируется его *авторитет*, который теперь простирается далеко за границы творческих и эстетических вопросов. Это обобщение ценности классического писателя на самом деле относится к началу девятнадцатого века, когда образовался новый институт писательства в России. Как показывает Григорий Фрейдин, в России в это время произошел кризис символического авторитета: при возрастающей секуляризации общества церковь и государство недооценивали символов своей собственной легитимности. Русские писатели, во многом отчужденные от политических и религиозных институтов, охотно присвоили себе оставшийся «избыток» символического авторитета³¹. Имея в виду эту традицию, следует заметить, что «литературная учеба» эпохи культурной революции фактически sujала авторитет классического писателя и обесценивала его как форму культурного капитала. Возвращение к романтическому варианту накануне окончательного подчинения литературы государству дало возможность власти в свою очередь присвоить себе уже полноценного классика.

Гоголевский юбилей 1952 года представляет в этом смысле показательный пример того, как советская власть пользовалась авторитетом классика в эпоху соцреализма. К моменту, когда культурные институты страны мобилизовывались для того, чтобы отметить столетие со дня смерти Гоголя, традиция всенародного литературного юбилея существовала уже более семидесяти лет. Начало ее относится к знаменитым пушкинским дням 1880 года³². Эмоции, порожденные праздником (и особенно речью Достоевского) проникли во все слои образованного общества и вдохновили организаторов таким же образом чествовать и других классических писателей. «Да будет Москва пантеоном русской литературы», — заявил на одном из заседаний А. А. Потехин, — «да воздвигнется памятник Гоголю в центре России — Москве!»³³. К наступлению столетия Гоголя в 1909 году сложилась определенная культурная практика, характеризующая литературный юбилей. Ценность классика увековечивалась целым комплексом культурных реаллий. Во-первых, резко повышалась продукция произведений юбиляра и расширялось их распространение по всей стране: издавались дешевые брошюры для читателя из народа, готовились роскошные иллюстрированные издания, памятные альбомы, академические издания. Во-вторых, критики и биографы, пользуясь повышенным интересом читающей публики, выпускали всякого рода статьи, книги, лекции и заметки, посвященные писателю. В-третьих, во время самого праздника устраивались выставки, вечера, публичные чтения, представления драматических и музыкальных произведений. Самое важное место в этом комплексе мероприятий занимало воздвижение памятника писателю. Здесь стоит повторить, что авторитет классика *символичен*, т. е. присущ не самому писателю, а скорее установленным формам, которые имеют культурную ценность. Поэтому, чтобы воспользоваться авторитетом Гоголя, власти пришлось полностью воскресить дореволюционную традицию юбилея.

Столетие со дня смерти Гоголя отличалось от других советских литературных праздников тем, что впервые был заменен дореволюционный памятник писателю. Исчезла меланхолическая, сгорбленная фигура, отлитая Николаем Андреевым (она сегодня стоит во дворе бывшего дома А. П. Толстого на Никитском бульваре). Вместо нее воздвиглась созданная Николаем Томским скульптура человека с прямой осанкой, спокойной и легкой улыбкой на лице. Замена такого тотема как памятник Гоголю, представлялась бы смелым поступком, даже со стороны советского государства, которое уничтожало целые пласты культурного наследия. Ведь в 1937 году во время очередного пушкинского праздника на памятнике поэта восстановили оригинальный, предцензурный вариант стихотворения, врезанного в пьедестал, но саму скульптуру не тронули. Надо признаться, конечно, что скульптура Андреева резко противоречила большому стилю советского искусства: приспособить угловатую манерность ее к царствующим нормам облагораживающих классических пропорций было невозможно. В самом деле, декадентский памятник Андреева вызвал большой скандал с самого момента его открытия в 1909 году. Художники упрекали его в плохой технике, обращая внимание на преувеличенный нос Гоголя и отсутствие чувства объема. В газетной прессе скульптуру называли «памятником какой-то неизвестной старухи» и «коршуном-стервятником с перебитым правым крылом»³⁴. Общее разочарование побудило, наконец, московского покровителя искусств И. Цветкова открыть подписку на капитальную переделку его. «Памятники ведь, — объяснил он, — как принято выражаться, ставятся в назидание потомству, и уж по одному этому ими следует иллюстрировать не худшую, а лучшую эпоху жизни и деятельности великих людей»³⁵. Цветков мог бы быть представителем советского государства, которое спустя двадцать шесть лет объявило конкурс на новый памятник Гоголю: «Ввиду того, что памятник Н. В. Гоголю, установленный в 1909 г. на Гоголевском бульваре, не передает образа великого писателя-сатирика, а трактует Гоголя как

пессимиста и мистика, причем само исполнение памятника не свободно от ряда существенных недостатков, Всесоюзный Комитет по делам искусств при СНК СССР, на основании постановления СНК СССР от 13/В 1936 г. № 855, объявляет конкурс на новый памятник Н.В. Гоголю»³⁶.

Не подлежит сомнению, что открытие памятника 2 марта 1952 года завершило «очищение» наследия писателя и зафиксировало в народном сознании его канонический советский образ. Можно, однако, утверждать, что служило оно и другим целям.

Обратимся для начала к надписи на пьедестале: «Великому русскому художнику слова, Николаю Васильевичу Гоголю *от правительства Советского Союза*, 2 марта 1952». Прямое упоминание советского правительства представляет собой поразительное исключение в жанре памятных надписей. По обычаю, адресантом памятника должен быть *народ*, а не правительство. Стоит напомнить, что дореволюционные памятники Пушкину и Гоголю были финансированы подпиской, причем всячески избегалось какое бы то ни было покровительство со стороны государства. Само собой разумеется, что советский народ был не в силах отделиться от своего государства, ибо советское государство и представляет народ. И все-таки, упоминание правительства на памятнике являлось исключением даже в советское время. На памятнике Владимиру Маяковскому, например, обозначено только его имя и несколько его стихотворных строк; памятник Пушкину в Ленинграде украшен только словами: «Александр Сергеевичу Пушкину». Отдав дань «великому русскому художнику слова», советское правительство открыто заявило свои исключительные права на Гоголя.

Чем же Гоголь мог быть полезен «советскому правительству» в 1952 году? Будучи одним из основоположников «народности» в русской литературе, Гоголь как нельзя лучше соответствовал главному направлению послевоенной идеологии: «Основным содержанием идеологической борьбы в период позднего сталинизма было утверждение советско-русского патриотизма»³⁷. Шовинизму сопутствовал и известный анти-интеллектуализм, выдвинувший крестьянина на роль представителя народа. В этих условиях украинские повести Гоголя приобрели особый смысл. Персонажи и мотивы из «Вечеров на хуторе из Диканьки» и «Миргорода» играли видную роль в школьных праздниках, организованных в честь юбиляра, и в биографической литературе часто упоминалось о страсти Гоголя к украинскому фольклору. В материалах для выставок в школах и детских библиотеках, изданных Домом Детской Книжки, например, жизнь Гоголя начинается с его интереса к фольклору: «Переходя ко второму отделу [выставки], надо сказать, что уже в детские годы Гоголь проявил исключительную любовь и интерес к украинскому народному творчеству»³⁸. Программа празднования юбилея, рекомендованная Министерством Образования РСФСР для школьников пятого-седьмого классов сосредоточивала внимание почти исключительно на ранних повестях Гоголя. Как показывает вторая половина программы, нарочно выбирались тексты, которые должны были вызывать патриотические чувства: кроме гимна русской дороге и образа Руситройки из «Мертвых душ», все отрывки были взяты из таких произведений как «Сорочинская ярмарка» («Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!») или «Страшная месть» («Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои»). Если в начале XIX века эти повести Гоголя превратили Украину в символ подлинной народности, то в культуре позднего сталинизма они удостоверяли народность советской власти. Это пересечение «народности» классика и «народности» советского строя любопытным образом раскрылось в юбилейной речи А. Е. Корнейчука: «Но даже фантазия великого Гоголя не могла предвидеть то время, когда сорочинские и миргородские хлопцы и девчата, воспитанные великой партией Ленина-Сталина, станут хозяевами жизни, активными строителями коммунистического общества»³⁹.

Легко подвергся под идеологию «советского патриотизма» и «Тарас Бульба». Здесь соединились героическая монументальность, ревностный патриотизм, исторические темы и образы войны, определявшие культурную политику послевоенной эпохи. Более того, антипольские чувства, выраженные в «Тарасе Бульбе», оказались очень актуальными в начале 1952 года, когда обвинения в бойне в лесах Катыни стали появляться в западных газетах. То же можно сказать и об антисемитском оттенке «Тараса Бульбы», согласовавшемся с официально насаждавшейся юдофобией. Несколько отрывков стали ключевыми текстами юбилея, в том числе и речь Тараса о товариществе: «Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может только один человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей»⁴⁰. Хотя государство поддерживало после войны общее стремление к традиционной, «буржуазной» концепции семьи, оно, тем не менее, вовсе не отказывалось от идеала «большой семьи»⁴¹. Советская власть все еще пропагандировала «узы товарищества», так что убийство Тарасом собственного сына легко трактовалось как мощное изображение первенства государства («товарищества») над семьей.

Стоит также иметь в виду, что к началу 1950-х годов «теория бесконфликтности» представляла собой аксиому соцреалистической эстетики. На страницах романов и повестей по-настоящему не появлялись — не мелькали даже — личная вражда, моральный кризис, социальная борьба; любое отрицательное явление, будь оно материальное или психологическое, не находило места в изображениях советского строя. Условный конфликт между «старым» и «новым» или «хорошим» и «плохим» был заменен борьбой «хорошего с лучшим» и «лучшего с отличным». К 1952 году, однако, началась борьба с «теорией бесконфликтности» (тогда же было введено и само это понятие), а заодно были предприняты попытки восстановить сатирическую традицию русской литературы. Как главный представитель этой традиции, Гоголь стал символом новой литературной политики, официально объявившейся через два месяца после юбилея. «У нас не все идеально, — писалось 7 апреля в газете «Правда», — у нас есть отрицательные типы, зла в нашей жизни немало, и фальшивых людей немало. Нам не надо бояться показывать недостатки и трудности. Лечить надо недостатки. Нам Гоголи и Щедрины нужны»⁴². Задача советской литературы вдруг коренным образом изменилась: от конструктивного отношения к действительности и изображения положительных героев писатели должны были обратиться к критической оценке жизни и разоблачению врагов народа⁴³. Произошел своеобразный возврат от второго тома «Мертвых душ» к первому.

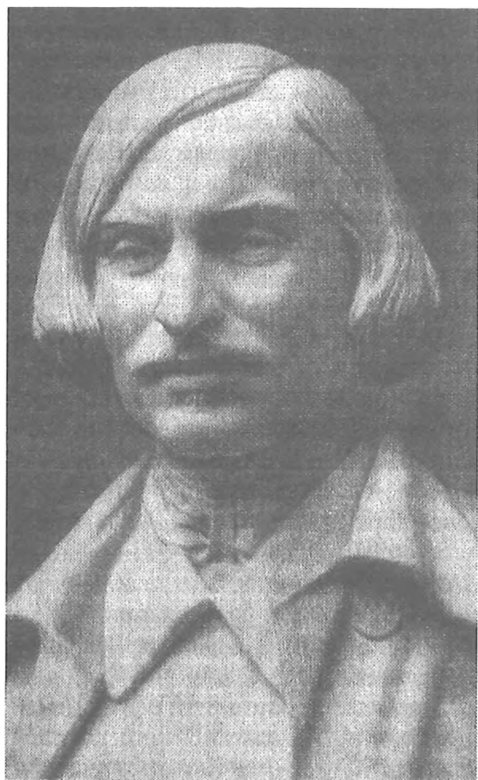
Легко представить себе, что надпись на пьедестале могла расстроить (а то и обидеть) присутствовавших на открытии нового памятника Гоголю, но лик скульптуры должен был беспокоить их еще больше. Как было уже указано, против искажения лица у дореволюционного памятника Андреева имелись резкие возражения. В попытке избежать такой «карикуры» Николай Томский, творец новой скульптуры, долго сидел над самыми известными портретами писателя: живописным портретом Венецианова 1834 года, картиной Моллера 1841 года и рисунком Иванова 1847 года⁴⁴.

По свидетельствам современников, скульптор, очевидно, уделил особое внимание глазам Гоголя. Илья Абрамский, суммируя несколько разговоров с ним в книге «В мастерской Н. В. Томского», заметил: «И чем глубже изучал он выражение лица писателя и особенно его пристальный взгляд, глубоко проникающий в человеческую душу, тем сложнее казалась ему задача воссоздать этот замечательный, но столь противоречивый образ. Взгляд Гоголя — это сложнейший конгломерат, казалось бы, взаимоисключающих чувств. Страстная патриотическая

влюбленность в человека и наряду с ней скепсис пронзительной гоголевской усмешки. Временами его глаза искрятся таким заразительным смехом — и вдруг на них словно падает пелена болезненного мироощущения»⁴⁵. Если всмотреться в бюст писателя, можно увидеть, что он как-то не синтезирует установленной иконографии Гоголя. Подскульные складки врезаны глубже, чем в любом из портретов. Вскинутые брови отражают больше хитрости. Нос длинноват, но не такой острый, как в оригиналах. Наконец, глаза — они и в самом деле отражают большой труд скульптора: их выражение лукавее, суровее, чем в других портретах. Глаза не столько «искрятся заразительным смехом», сколько напоминают дьявольский взгляд ростовщика Петромихали из повести «Портрет». Объяснение этих отклонений от традиции гоголевской иконографии легко найти в иконографии другого видного общественного деятеля этого времени, в образе человека, лицо которого можно было увидеть всюду в то время, когда Томский работал над памятником, — Сталина.

Сходство здесь, конечно, не точное, но все-таки оно достаточно близко, чтобы установить связь между писателем и вождем⁴⁶.

В чем был однако смысл этого метафорического сближения Гоголя со Сталиным? Почему именно Гоголь стал символическим двойником вождя? Сначала стоит обратить внимание на парадоксальность позиции Сталина по отношению к патриотической кампании. Будучи грузином, он настойчиво пропагандировал русский национализм после войны и даже дал старт соответствующей кампании, произнеся победный тост великому русскому народу. Как ни странно, Гоголь мог оправдать патриотизм вождя: и Гоголь был нерусским человеком — самозванцем с юга — который, вопреки своему происхождению, занял центральное, авторитетное место в русской культуре. Россия была, пожалуй, самой важной темой его творчества. Никто не поставил бы под сомнение значение украинца-Гоголя в русской культуре, кто же может оспорить место в ней грузина-Сталина?



Есть и другой аспект проблемы: восприятие Гоголя самим Сталиным. Как было принято в это время, каждая публикация, связанная с юбилеем, обращала внимание на упоминания Гоголя в произведениях Ленина и Сталина. Ленин ссылался на него пятнадцать раз, а Сталин — только пять. Ссылки Сталина, хотя их было меньше, поражают тем, что самые длинные и чаще всего цитатные относятся к самому пику террора 1936—1937 гг. Отвечая на обвинение, что его новая Конституция представляет собой поворот вправо, Сталин сравнивал своих критиков с Пелагеей, девушкой, которая пытается вывести Селифан^а и Чичикова на дорогу, но не знает, где лево, а где право. Через год на предвыборной встрече с избирателями Сталин, говоря о возможных кандидатах в депутаты, выразился следующим образом: «Есть люди, о которых не скажешь, кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа... О таких людях неопределенного типа, о людях, которые напоминают скорее политических обывателей, чем политических деятелей, о людях такого неопределенного, неоформленного типа довольно метко сказал великий русский писатель Гоголь: “Люди, говорит, неопределенные, ни то, ни се, не поймешь, что за люди, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан”»⁴⁷. Сквозная тема сталинских ссылок на Гоголя — неопределенность, которая как в творчестве писателя, так и в эпоху террора, обозначала демоническое. В этом контексте особую важность приобретает тот, кто *видит*, кто может отличать того от сего, Селифана от Богдана. Приведа эти отрывки, Сталин как бы утверждал, что он разделяет сверхъестественный талант Гоголя разоблачать человеческую пошлость и осуждать пороки людей.

Итак, новый памятник открыто приписал Сталину силу мощного гоголевского взгляда, который, по словам Томского, мог «проникать в человеческую душу». Тема всевидящего ока часто появляется в творчестве Гоголя, и она без сомнения имела бы особый резонанс в начале пятидесятых годов, когда Сталин готовился к очередному кругу чисток⁴⁸. Например, цепь метафорического замещения связала Гоголя-Сталина с ревизором, давшим обет отомстить за коррупцию и другие «грешки» против государства⁴⁹. Таким образом, открытие нового памятника как будто объявляло наступающий страшный суд. Однако из этого метафорического комплекса рождается еще более тревожное сравнение, на которое намекал Осип Мандельштам уже в начале 1930-х годов: «Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки... Дайте Цека...»⁵⁰ Своей скульптурой Николай Томский это сравнение и воплотил: с 1952 года на Гоголевском бульваре стоит всевидящий начальник гномов, Гоголь-Сталин-Вий. Он держит какую-то книгу в железной руке. И, что страшнее всего, веки у него никогда не опускаются.